# Париж без рифм

***Париж скребут. Париж парадят.
 Бьют пескоструйным аппаратом,
 Матрон эпохи рококо
 продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно —
 содрать с предметов слой наружный,
 увидеть мир без оболочек,
 порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,
 но наш патрон, мадам Ланшон,
 сказала: «0-ля-ля, мой друг!..» И вдруг —
 город преобразился, стены исчезли, вернее, стали прозрачными,
 над улицами, как связки цветных шаров, висели комнаты,
 каждая освещалась по-разному,
 внутри, как виноградные косточки, горели фигуры и кровати,
 вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
 над столом
 коричнево изгибался чай, сохраняя форму чайника,
 и так же, сохраняя форму водопроводной трубы, по потолку бежала круглая серебряная вода,

в соборе Парижской богомагери шла месса,
 как сквозь аквариум,
 просвечивали люстры и красные кардиналы,
 архитектура испарилась,
 и только круглый витраж розетки почему-то парил над площадью, как знак: «Проезд запрещен»,
 над Лувром из постаментов, как 16 матрасных пружин, дрожали каркасы статуй,
 пружины были во всем,
 все тикало,
 о Париж, мир паутинок, антенн и оголенных проволочек,
 как ты дрожишь,
 как тикаешь мотором гоночным,
 о сердце под лиловой пленочкой,
 Париж
 (на месте грудного кармашка, вертикальная, как рыбка,
 плыла бритва фирмы «Жиллет»)!
 Париж, как ты раним, Париж,
 под скорлупою ироничности,
 под откровенностью, граничащей
 с незащищенностью,
 Париж,

в Париже вы одни всегда,
 хоть никогда не в одиночестве.
 и в смехе грусть, как в вишне косточка,
 Париж — горящая вода,
 Париж,
 как ты наоборотен,
 как бел твой Булонский лес, он юн, как купальщицы,
 бежали розовые собаки, они смущенно обнюхивались,
 они могли перелиться одна в другую, как шарики ртути,
 и некто, голый, как змея,
 промолвил: «чернобурка я»,

шли люди,
 на месте отвинченных черепов,
 как птицы в проволочных клетках,
 свистали мысли,

монахиню смущали мохнатые мужские видения,
 президент мужского клуба страшился разоблачений
 (его тайная связь с женой раскрыта,
 он опозорен),
 над полисменом ножки реяли,
 как нимб, в серебряной тарелке
 плыл шницель над певцом мансард, в башке ОАСа оголтелой
 Дымился Сартр на сковородке,
 а Сартр, наш милый Сартр,
 вдумчив, как кузнечик кроткий,
 жевал травиночку коктейля,
 всех этих таинств мудрый дух,
 в соломинку, как стеклодув,
 он выдул эти фонари,
 весь полый город изнутри,
 и ратуши и бюшери,
 как радужные пузыри!

Я тормошу его: «Мой Сартр,
 мой сад, от зим не застекленный,
 зачем с такой незащищенностью
 шары мгновенные летят?

Как страшно все обнажено,
 на волоске от ссадин страшных,
 их даже воздух жжет, как рашпиль,
 мой Сартр! Вдруг все обречено?!.»

Молчит кузнечик на листке
 с безумной мукой на лице.
 Било три…
 Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,
 в зубах джазиста изгибался звук в форме саксофона,
 женщина усмехнулась,
 «Стриптиз так стриптиз»,— сказала женщина,
 и она стала сдирать с себя не платье, нет,— кожу!—
 как снимают чулки или трикотажные тренировочные костюмы

— о! о!—
 последнее, что я помню, это белки,
 бесстрастно-белые, как изоляторы, на страшном, орущем, огненном лице.

«…Мой друг, растает ваш гляссе…»
 Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
 А за окном летят в веках
 мотоциклисты в белых шлемах,
 как дьяволы в ночных горшках.***